

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

КНИГИ
ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ —
ПОДЛИННОЕ УКРАШЕНИЕ
ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ,
ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ
В ЛИТЕРАТУРЕ:

- Любовь фрау Клейст
- Веселые ребята
- Портрет Алтовити
- День ангела
- Напряжение счастья
- Сусанна и старцы
- Жизнеописание грешницы Аделы
- Отражение Беатриче
- Страсти по Юрию
- Вечер в вишневом саду
- Полина Прекрасная
- Райское яблоко
- Соблазнитель
- Имя женщины — Ева
- Я вас люблю
- Ты мой ненаглядный!
- Дневник Натальи
- Елизаров ковчег
- Младенческие опыты женщины
- Шестая повесть И.П. Белкина

Семейная сага «Я вас люблю»:

- Барышня
- Холод черемухи
- Мы простимся на мосту

ИРИНА
МУРАВЬЁВА

РАЙСКОЕ
ЯБЛОКО



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М91

Художественное оформление серии *А. Старикова*

Муравьёва, Ирина.
М91 Райское яблоко / Ирина Муравьёва. — Москва :
Издательство «Э», 2016. — 288 с. — (Любовь к жизни.
Проза И. Муравьёвой).

ISBN 978-5-699-92187-4

Адам и Ева были изгнаны из Рая за то, что вкусили от запретного плода. Значит ли это, что они обрекли весь человеческий род на страдание, которое неразрывно связано с любовью? Алёша, мальчик из актёрской московской семьи, рано окунулся в атмосферу любви-страсти, любви-ревности, любви-обиды. Именно эти чувства связывают его родителей, этой болью пронизана жизнь его бабушки, всю себя отдавшей несвободному женатому человеку. Как сложится судьба её внука, только что познавшего райское блаженство любви?

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-92187-4

© Муравьёва И., 2016
© Оформление.
ООО «Издательство«Э», 2016

Глава первая

АЛЕША

Лето особенно запомнилось Алеше свежим и терпким ароматом леса — он от него просыпался. Сами по себе деревья не могли так пахнуть — так пахла вся летняя жизнь. И листья, и кроны, и вылезшие из земли корни, которые напоминали вздувшиеся вены на руках молочницы, и звери, которые прятались в чаще и там же кормили детенышей. А зверь каждый пахнул по-своему. И было полным-полно птиц и гнезд с их птенцами. Они раскрывали чернильные рты, и мать, подлетая, совала то в один, то в другой жадный рот живого червя. И не было жалости в птичьих глазах, ведь червяк был чужим, а этот орущий птенец — родным сыном.

Алеша был сыном и сам. Родным и любимым. При этом он, кроме страданий, почти ничего не изведal. А может быть, если отец бы не пил, то было бы все по-другому. А может быть — если бы не был актером. Семья заплатила за водку и славу тем, чем положено — болью и страхом.

Обычно артист встает поздно, к полудню, возвратившись после спектакля лишь на рассвете. После спектакля никто не идет прямо домой. Идут в ресторан, или в закусочную, или в гости к тому, к кому можно нагряться, не боясь разбудить после одиннадцати. Потом наступает глубокая ночь. Журчит в батарее вода. Тянет холодом в форточку. Алеша, конечно же, спит. И мама. И даже, наверное, бабушка с ее этой вечной проклятой бессонницей. Но каждый из них просыпается, заслышав, как затормозила машина у дома.

— Ну, сколько натикало? (Голос отца.)

— А сами не видите? (Голос шофера.)

— Держи. (Снова голос отца.)

— Спокойной вам ночи.

Скользнув равнодушным огнем по скамейке, такси отъезжает. Из спальни выходит мама — в длинном халате, тонкая, как оса, и такая же равнодушно-озлобленная, как оса, которой как будто бы все равно, прихлопнут ли нынче ее полотенцем. И если прихлопнут, не очень-то жалко — варенье все съедено, полки пусты.

Потом начинается скрежет и шум. Дверь не открывается: ключ не попал. Опять не попал. Звон. Упала вся связка. А мама, оса, затаилась и ждет. И вот раскрывается дверь, и на маму

нисходит лавина снега. На лбу снежный бинт.
Значит, только упал.

- Дополз?
- Помолчи! Ребенка разбудишь!
- Ребенок не спит.
- Все равно замолчи!
- Я долго молчала.
- Когда ты молчала? Пусти, я умоюсь.
- Нет, ты уж послушай!
- Уйди.
- Не уйду. Когда это кончится?
- Чтоб ты подохла!
- Не бойся, подохну! Но после тебя!

Алеша зарывается в одеяло и там, в темноте, где тело покалывают крошки печенья, которое съел, засыпая, дрожит крупной дрожью. Ведь мог бы привыкнуть, а не получается.

Бывали, однако, и праздники. Зимой поставили новый спектакль — «Семейное счастье». Когда решалось, кому играть главную роль, отец неожиданно пить перестал и вдруг похудел, побледнел, подтянулся. Глаза его стали тревожными, жалкими. И мама однажды его обняла — когда сели завтракать, вдруг обхватила одною рукою за шею, в другой был омлет, еще весь пузырящийся.

- Не бойся, ты будешь играть.
- Не дадут. Ануфриев метит.
- Ты будешь играть. Я сон вчера видела.
- Хватит про сны!

— Да что значит хватит? Пеку я блины. И сахаром их из кулька посыпаю. Теперь уже точно, ты будешь играть.

Она не ошиблась: отцу дали роль.

Премьера состоялась перед самым Новым годом. И мама накрасила губы так ярко, как будто бы главную роль дали ей. И бабушка тоже накрасила губы. У бабушки есть для кого губы красить. Для Саши, любовника. Женатого, с очень больною женой. Она уже год в психбольнице. История грустная, нервная, долгая, но бабушка терпит. Деваться ей некуда.

От дома идти до театра пешком. Живут Володаевы в центре. Музей Станиславского — прямо у них во дворе, смотрит через дорогу на зашторенные окна корейского посольства. Корейцы одеты всегда одинаково: штаны темно-синие, белые блузки. На каждом корейце значок. С другой стороны от музея растет вековая огромная липа. Она прикрывает музей от дворовых — актеров, старух, стариков и детей. Зимой, когда дерево обнажено, то можно увидеть на стуле зрителя. Он спит, и его бакенбарды шевелятся.

На премьере было так много знакомых, что маму от страха, что папа провалится, слегка затошнило. Помада вся стерлась. А бабушка — тоже от страха — держала любовника Сашу так крепко, что палец с его обручальным кольцом немного вспотел.

Во втором акте отец, с шелковым шарфом на шее, сказал:

— Ведь я для вас стар. И не спорьте. Я знаю, что я для вас стар!

Алеша напрягся, и тут ему вспомнилось: он был совсем маленьким, кротким и толстым. Гуляли с отцом на Никитском бульваре. Детишки давно разошлись. Алеше хотелось домой, но отец все топтался и грел его руки в ладонях. И вдруг подбежала какая-то девушка. Отец сразу кинулся к ней. Они обнялись и стояли так долго. Она разрыдалась, открыла лицо. Алеша запомнил: лицо было мокрым. И что-то такое отец ей сказал... Да, он ей сказал эту самую фразу:

— Я стар для тебя. И не спорь. Слишком стар.

Мороз был тогда, очень сильный мороз.

На сцене отец его, статный, высокий, с горящими скулами, все повторял:

— Я стар для вас. Слышите, Маша? Прощайте.

И тут же актриса с пшеничной косой вдруг так закричала, что зал даже вздрогнул:

— Вы низкий, вы неблагородный! Как вы... Как вам... Вы знали, что я вас любила! Люблю! И как же вы можете... Как вам не стыдно!

Пошел занавес. Зрители зааплодировали.

— Ну, мастер, ох, мастер! — сказал кто-то маме. — Ведь он же живет! Не играет, живет!

Отец его кланялся. Мама, бледнея, смотрела в бинокль на сцену. Партнершу отца звали Юной Ахметовной. Она жила прямо под ними, на третьем. Мужья ее часто менялись, поскольку у Юны Ахметовны сын-алкоголик. Он то пропадал, то опять появлялся. Ей было семнадцать, когда он родился. Теперь ей исполнилось сорок. Сын выглядит старше, чем мать. Глаза ее — два золотых полумесяца, улыбка прелестна, фигура божественна. Таких, как она, любят мучить мужчины. И за красоту, и за легкий характер.

Крикливая стайка отцовских поклонниц струилась к гримерке рекой из букетов. Но мама раздвинула их и вошла. Алешу втащила, как ватную куклу. Отец, отлепляя бородку, был весел и, видно, смущен своим шумным успехом.

— Ну, как тебе в целом? — спросил он у мамы.

— Сыграл хорошо. Вжился в роль. Даже слишком.

Отец покраснел и нахмурился:

— Хватит! А я ведь как чувствовал... Сразу припомнишь!

— Так я не забывчива. Ты это знаешь!

— А то мне не знать! Паранойя твоя...

— *Моя* паранойя? А я здесь при чем?

Отец заиграл желваками и сразу сменил неприятную тему:

— Там вроде уже отмечать собираются...

Ему не терпелось от них отвязаться.

— Иди отмечай! Доберешься к утру? Мороз обещают. Смотри не замерзни. И Юну Ахметовну не заморозь.

— Ты дура, Анята. Хоть Юну не трогай.

— Да мне наплевать! Даже лучше — соседка! Такси брать не нужно. Сел в лифт и приехал!

— Ну, все. Я пошел.

И раскрыл дверь гримерки. Его обступили влюбленные женщины. Букеты в скрипучих тугих упаковках, сцепляясь шипами и лентами, посыпались прямо ему на лицо. Он так и стоял — весь в цветах, он искрился.

Иногда Алеше казалось, что он разгадал их семейную тайну. Над ними, конечно, висело проклятие. Они очень сильно любили друг друга, но только больной и нелепой любовью, поэтому грызли себя и других, как белки орехи. Сгрызали до крови. Взять маму. Она ни на секунду не простила бабушке, что та развалила чужую семью. А бабушка не отвечала на это, жила своей жизнью и только шипела, когда пропускала синюшное мясо сквозь мясорубку:

— Еще не хватало! Меня ей учить! С больной головы на здоровую! Нет уж!

И быстрой рукою месила кровавое.

Отец же и мама друг за друга боялись. Вот это и было больнее всего. Особенно они боя-

лись, когда кто-то из них заболел. Им, может быть, было не так уж и важно — ругаться, мириться, молчать по неделям. Им было неважно, в каком они *качестве*. Но зная, что качество всей их семьи, скорей всего, среднее, а может, и низкое, они и боялись за эту семью, как люди боятся за дом обветшавший и сад, где полно сорняков да вредителей.

В конце зимы у отца случился инфаркт. Его вылечили, но мама как будто слегка обезумела. Теперь она не только прятала от него все спиртное, не только бросала трубку, услышав голос режиссера Ефимова, звонящего из ресторана с просьбой к отцу приехать — «уже собрались», — теперь она встречала его после спектаклей: ходила к театру со старым бульдогом по имени Яншин, который останавливал внимание размером своих очень жирных, обвисших, от возраста вытертых щек — ярко-красных у глаз и розово-рыжих на шее, хотя самой шеи за жирными складками практически не было видно. Мама поджидала отца в фойе, где со стен на нее смотрели актеры с актрисами, и Яншин — по странной и необъяснимой причине — рычал на портрет одного старика с обвислыми, очень большими щеками.

Отец, лишенный возможности улизнуть, смиренно тащился домой вместе с мамой, а дождик, дрожащий и вкрадчивый дождик на них моросил, словно бы в удивленье. Отец обнимал

маму крепко за плечи — и так, под одним полосатым зонтом, высокие, стройные и молодые, как будто они никогда не ругались, а так вот и жили в счастливом единстве, они торопились к себе, а собака едва поспевала за быстрым их шагом.

В конце июня родители вместе уехали на гастроли. Мама, которая понимала, что, как только отец окажется на свободе, так жди возвращения отчаянной жизни, а стало быть, и повторенья инфаркта, поехала с ним. Алешу же в сопровождении бабушки отправили в дачный поселок Немчиновка.

Приехали. Сад весь зарос лопухами, и над ними, нагретыми влажным теплом, вились подслеповатые бабочки. Дом после долгой зимы отсырел, на стенах была кое-где плесень. На одной половине дома жили бабушка, Алеша и бабушкина двоюродная сестра Амалия из Питера. На другой половине — подруга их юности Сонька. Две эти с младенчества близкие женщины слегка походили на спелые яблоки, упавшие с ветки, размокшие, терпкие. Они очень быстро потели на солнце, краснели от зноя, и лямки их платьев всегда оставляли следы на плечах.

Алешина бабушка от них отличалась. Она не старела, как Сонька с Амалией, но все продолжала любить и боролась за эту любовь горячо, как могла.

Проснувшись всех раньше, она надевала старый черный купальник, резиновую шапочку на рыжеватую от хны, миловидную голову и очень легко, мягким женственным шагом шла к пруду купаться. Кроме нее, в нагретой до пара и сизой воде бултыхались лишь утки, а в самое пекло — сожженные солнцем сельские дети. Сельчан, впрочем, не было, были соседи, живущие в старом селе Ромашове. Село — или, как говорили, поселок — было недалеко, через реку Чагинку. Там были и куры, и гуси, и козы. И жизнь вся кипела вокруг огородов и прочих нелегких хозяйственных нужд. Там рано вставали и рано ложились, и пахло там свежим горячим навозом, а в низких, весьма неказистых домах на всех подоконниках были горшки с растением алоэ и красной глоксинией. Дачники на другом берегу Чагинки держались замкнуто, с поселковыми не мешались, имели на своей территории магазинчик, сторожку, где жил пьяный сторож, и лес. Ходили в панамках, а то так и в шляпах, и праздность их была в глаза — сидели в садах и чай распивали.

Наплававшись в полыньях чистой блестящей воды среди толстых круглых листов кувшинок, бабушка принималась готовить завтрак. К завтраку выходила из маленькой комнаты Амалия в голубом капроновом халате, прожженном тут и там утюгом, и следом — картавая сплетница Сонька.

— Сегодня заказ, — сообщала им Сонька. — Сказали: собраться в березовой роще. Чтобы из поселка никто не пронюхал.

Раз в неделю дачникам полагался продовольственный заказ. Он оформлялся заранее, заранее был и оплачен. Никто из поселка не должен был знать, что в этой невинной березовой роще, прикрытые сверху своими панамками, бездельницы каждый четверг получают наборы прекрасных продуктов. И дешево — кооперативная льгота. И сразу все прячут в пакеты и сумки. Расходятся по одной, напевая.

Вспомнивши, что сегодня четверг, бабушка и Амалия переглядывались. Это их всегда забавляло.

По пятницам бабушку навещал Саша. Выходные он проводил на даче, не ездил в больницу к несчастной жене, и бабушка привычно продевала свою еще сильную женскую руку под локоть чужому неверному мужу, кормила его на террасе отдельно, водила гулять на Чагинку. Чагинка была очень тихой, глубокой, на редкость ко всем дружелюбной рекой.

В субботу вставали попозже и долго, старательно ели нехитрый свой завтрак. К столу подавали клубнику, творог, Амалия делала кашу из тыквы, а бабушка сырники или оладьи. Когда в доме появлялся мужчина, Амалия с Сонькой вдруг преображались. Подводили глаза и припудривали постаревшие лица. Присутствие